

## ФИЛОЛОГИЯ

УДК 821.161.1 (091)

### 1812 год В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ ФРОНТОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

© 2013 г.

*М.А. Александрова*

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

nam-s-toboj@mail.ru

*Поступила в редакцию 06.08.2012*

Рассматривается ряд литературных проекций мифа о войне 1812 года; сопоставляются этапы формирования образа прошлого как «века героев»; прослеживаются закономерности выбора и трансформации текстов-источников; характеризуются имплицитные и эксплицитные способы воплощения ключевой мифологемы в повествовательной прозе и в лирике.

*Ключевые слова:* Отечественная война, миф, мифологема, рецепция, традиция.

1812 год – одна из наиболее устойчивых в нашей культуре мифологем, что подтверждается парадоксами ее судьбы в XX веке. В ранне-советскую эпоху Отечественная война трактовалась уничижительно и была вытеснена (усилиями М.Н. Покровского) на периферию академической науки, едва упоминалась в школьном и вузовском преподавании; над биографией Наполеона, столь популярной впоследствии, Е.В. Тарле работал в ссылке и даже в 1936 году, после официального «прощения», с трудом опубликовал эту книгу. Обстоятельства затрудняли просветительскую миссию художественной литературы: «Война и мир» оказывалась посильна не всякому читателю нового призыва, а беллетристику XIX века вроде «Сожженной Москвы» Г.П. Данилевского начали переиздавать только в конце 1930-х, по причине нехватки советских исторических романов, соответствующих моменту; до той же поры в массовых изданиях Лермонтова и школьных хрестоматиях не было места ни «Двум великанам», ни «Бородино». Поэтому может показаться, что своим пристрастием к теме 1812 года будущие писатели фронтового поколения (они же – первое поколение советской формации, «ровесники Октября») всецело обязаны предвоенному повороту на «военно-патриотическое воспитание» и той новоимперской риторике, которую остроумный В.Б. Шкловский назвал в 1941 году «войной под псевдонимом».

Но жизнь порою ставит эксперименты, поражающие своей «лабораторной чистотой». В

1935 году шестнадцатилетний Константин Воробьев был уволен из редакции сельской районной газеты с формулировкой: «за преклонение перед царской армией» [1, с. 373]; таким образом старшие истолковали предосудительное увлечение юного сотрудника историей, судьбами полководцев 1812 года. По свидетельству близкого человека, «идеал русского офицера времен Отечественной войны покорил его воображение» [1, с. 374], а источником впечатлений о прошлом стала некая дореволюционная книга с иллюстрациями – видимо, одна из тех, что во множестве издавались к столетию Отечественной войны. Ситуация внешним образом напоминает цветаевское узрение «лика» «на гравюре полустертой» («Генералам 12 года»), хотя природа идеализации прошлого у деревенского подростка-самоучки была, разумеется, иной. Важно, что эстетически неподготовленное сознание оказалось на удивление восприимчиво к тому образному языку, который был выработан для повествования об Отечественной войне еще в XIX веке.

«Традицию прерывали и подменяли, но уж слишком мощна была русская культура. Достаточно было малейшего знака, чтобы <...> начала восстанавливаться вся цепь» [2, с. 561], – обобщает Н. Коржавин собственный опыт увлечения «реакционным <согласно лукавой формуле из его следственного дела> прошлым нашей родины» [2, с. 848]. С наступлением войны для многих «гораздо больше стала значить и живее

выглядеть <...> история России. Война заставила ощутить ее реальность и ценность – *несмотря* на официозную пропаганду, а *не благодаря* ей» (выделено мемуаристом) [2, с. 669]. Выбор идеала за пределами своей эпохи, совершенный Константином Воробьевым раньше других, как раз и доказывает, что сама эта потребность, характерная для лучшей части поколения, созрела вне зависимости от «дозволения прошлого» со стороны высшей власти.

Историческое чтение, послужив в свое время катализатором конфликта будущего писателя с его окружением, открыло путь к разрешению конфликта внутреннего: «Это было соприкосновение с тем миром, который помог сохранить в себе чувство чести, достоинства, совести» [1, с. 373]. В повестях о войне К.Д. Воробьев избегает прямо говорить о заветном поведенческом образце, но приобщенность к «старинному» идеалу всегда угадывается в характеристике автобиографического или автопсихологического персонажа. Устойчив прием контрастного параллелизма, когда один из таких героев гибнет по велению чести, а другой отстаивает честь в страшных обстоятельствах отступления 1941 года и фашистского плена. В повести «Убиты под Москвой» (1961) командир учебной роты кремлевских курсантов Рюмин, наделенный «исторической» – дворянской – фамилией, предстает в ореоле традиционного офицерского благородства, под восхищенными взглядами своих рослых красавцев-солдат («гвардии») и юных лейтенантов, подражающих капитану в его особом шегольстве («надменно-ироническая улыбка» [3, с. 107], «стэк» в руке, чуть сдвинутая на правый висок фуражка [3, с. 108] и т.п.). Сцепление деталей высвечивает знакомый литературный фон: как полковой командир князь Болконский в день Бородинского сражения не мог себе позволить броситься на землю при близком разрыве («Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту»), так и капитан Рюмин, ведущий роту к ближним оборонным рубежам Москвы, при налете «юнкерсов» «оставался стоять на месте», обернувшись лицом к полегшим по его команде курсантам [3, с. 107]. Самоубийство Рюмина после гибели почти всей роты отзывается в сознании лейтенанта Ястребова преобразованием картины мира, новым чувством исторического и биографического времени: «...Теперь все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это – бывшее, настоящее и грядущее – требо-

вало к себе предельно бережного внимания и отношения» [3, с. 163]. В контексте целого заглавие повести прочитывается как торжественный ответ на лермонтовское «Бородино»: «Умрем же под Москвой» – «Убиты под Москвой»; эквиритмичность двух этих формул не может быть случайным совпадением.

Мифологемы, организующие художественный мир К.Д. Воробьева, эксплицированы в послевоенных сюжетах. Давно осиротевшие, уже взрослые герои повести «Генка, брат мой...» (1968) перечитывают «Войну и мир» и гадают о том, на кого были похожи их отцы, погибшие в сорок первом: на Пьера Безухова или князя Андрея. В тех же координатах ищет самоопределения герой-рассказчик повести «Вот пришел великан...» (1971): «В первую Отечественную войну я был попеременно то князем Андреем, то Багратионом, а в последнюю – то Кожедубом, то Рокоссовским» [3, с. 461]; двойником Наполеона он, не успевший на войну по возрасту, тоже может себя вообразить: «...вы не задумывались, почему Наполеон громил пруссаков, превосходящих его войска по численности в два или три раза? У тех командовали старцы, а наполеоновские маршалы были наши с вами ровесники!» [3, с. 465]. Такой сложный путь воплощения заветной темы мотивирован всей совокупностью исторических, личных и литературных обстоятельств; очевидно, что К.Д. Воробьев дистанцировался от традиции, успевшей оформиться в годы войны, когда ретроспективные аналогии были подчас прямолинейными.

Так, В.П. Некрасов в ранней повести «В окопах Сталинграда» (1946) вполне наглядно расписывает культурно-исторические роли, расставляет акценты, обнаруживая свойства мышления не только «книжного» (рефлексия по этому поводу сопровождает повествование от лица автобиографического героя), но и неомифологического: участники сегодняшних событий поверяются на соответствие первообразам. Примечательно, что источником фактов служат упоминаемые на страницах повести труды академика Тарле, основанием для ситуационных параллелей является толстовская «Война и мир», а романтическая традиция определяет возможность реинкарнации Наполеона – в качестве олицетворения собственной воли к победе. Прямо уподобляется Наполеону комдив, герой воображения Керженцева – черноглазый, маленького роста, с маленькими руками: «Говорят, летом <...> он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах. <...> А по передовой как ходит... Ни пуль, ни мин –

ничего для него не существует. <...> Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты...» [4, с. 151]. Многократно вспоминая «Войну и мир», Керженцев нарекает других именами толстовских персонажей: штабной офицер «с онегинскими бачками» – подобие Ипполита Курагина («Так же недалёк и самоуверен» [4, с. 194]). Себя Керженцев явно ощущает князем Андреем. Сопоставимо отношение к «нашему князю», командиру полка, любящих и робеющих подчинённых (III том «Войны и мира») и такой, например, взгляд ординарца на своего офицера: «Валега шупает <охапку соломы>, морщится: “Лейтенант не будут на такой дряни спать”» [4, с. 81]; «...Зато подавай им книжки. Все прочтут... Уж очень образованные!» [4, с. 200]. Свою «болконскую» позицию – синтез ранних героических вдохновений князя и откровений 1812 года о народной правде, общем духе войска – Керженцев подтверждает, когда лично, вопреки инструкциям о «месте командира в бою», возглавляет атаку.

Конкретные приемы культурно-исторических параллелей, столь несходные у В.П. Некрасова и К.Д. Воробьева, не могут заслонить эффективной близости рецептивных моделей: в обоих случаях литературные источники образа 1812 года, разновременные и разнородные, ассимилированы до полного снятия противоречий между концепцией Толстого, например, и романтической идеей Героя. Именно на этом уровне «заветное предание» русской истории становится *мифом* в точном значении слова, т.е. выполняет регулятивную функцию, облегчая «переживание стрессов, порождаемых критическими состояниями <...> общества и индивидуума» [5, с. 19].

Веяние мифологии 1812 года ощутимо в поэзии фронтовиков, с ее типологически устойчивым лирическим «я»: это «просвещенный и героический юноша на войне, вроде прежнего благородного поручика» [6, с. 75]. Знаменательно «производство в чин» без вести пропавшего товарища в стихотворении Сергея Наровчатова: «Я знаю: невозможное случится. // Я чарку подниму еще за то, // Что объявился лейтенант Кульчицкий // В поручиках у маршала Тито»; автор этих строк, как вспоминает Н. Коржавин, по возвращении с фронта и сам культивировал офицерский стиль романтической эпохи [2, с. 660]. Фронтальной разведчик Эммануил Казакевич весьма показательно комментирует свою очередную награду, примериваясь к воинской и литературной роли героя 1812 года: «Скоро я буду иметь столько орде-

нов, как Денис Давыдов, и писать стихи...» [7, с. 474].

Если в своих предвоенных мечтаниях «лобастые мальчишки невиданной революции» (Павел Коган) измеряли масштаб предстоящих боев «по Маяковскому» («Наши битвы посерьезнее Полтавы»), то в разгар войны те же поэты спонтанно воскрешают классическую иерархию мифа и уповают на закон повторяемости событий; Михаил Кульчицкий итожит предсмертное стихотворение формулой: «Не до ордена. // Была бы Родина // С ежедневными Бородино» [8, с. 228]. В русле той же логики, но с иной оценкой происходящего высказывается в 1946 году Давид Самойлов: «...Опять зеленые погоны, // Опять военные посты // И деревянные вагоны, // И деревянные кресты. // Но нет! уже не повторится // Еще одно Бородино, // О чем в стихах не говорится // И нам эпохой прощено» [9, с. 449–450]. Замечательная по своей зрелости мысль (выраженная еще не вполне совершенными стихами) также освещает причины, в силу которых идеализирующий миф о прошлом стал необходимостью.

Эти наблюдения позволяют уточнить генезис и структуру популярных в 1960–1970-е годы культурно-исторических концепций, когда мифологема 1812 года, воссоединенная с ностальгическим культом декабристов и Пушкина, послужила контаминации представлений об отечественном «золотом веке» и «веке героев».

#### Список литературы

1. Воробьева В.В. Розовый конь // Воробьев К.Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. III. М.: Современник, 1993. С. 362–394.
2. Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания в 2 кн. Кн. 1. М.: «Захаров», 2007. 864 с.
3. Воробьев К.Д. Вот пришел великан... Повести. М.: Известия, 1987. 608 с.
4. Некрасов В. В окопах Сталинграда. М.: Гослитиздат, 1948. 264 с.
5. Неклюдов С.Ю. Структура и функция мифа // Современная российская мифология. М.: РГГУ, 2005. С. 9–26.
6. Фаликов И.З. Красноречие по-случки // Вопросы литературы. 2000. Вып. 2.
7. Военный путь Э.Г. Казакевича // Лит. наследство. Т. 78, кн. 1. М.: Наука, 1966. С. 412–483.
8. Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. Стихотворения и поэмы. СПб.: Академ. проект, 2005. 573 с.
9. Самойлов Д. Стихотворения. СПб.: Академ. проект, 2006. 800 с.

**THE YEAR 1812 IN THE CREATIVE CONSCIOUSNESS OF WAR-GENERATION WRITERS***M.A. Aleksandrova*

The article tackles some literary projections of the myth of the 1812 Patriotic War; the stages of creation of the image of the «past» as the «century of heroes» are compared; the patterns of choice and transformation of source texts are traced; the implicit and explicit ways of realisation of the key mythologems in narrative prose and poetry are characterised.

*Keywords:* Patriotic War, myth, mythologem, reception, tradition.